

Иван Тургенев

Переписка



Иван Тургенев
Переписка

«Public Domain»

1856

Тургенев И. С.

Переписка / И. С. Тургенев — «Public Domain», 1856

ISBN 978-5-457-13880-3

Идейно-философские поиски Тургенева, во многом определявшиеся близким общением с Белинским, выразились в «Переписке» в стремлении автора вскрыть причины, порождавшие «лишних людей», и в страстном призыве жить действительной реальной жизнью, а не отвлеченными идеалами, выработанными в искусственной изолированности от повседневного человеческого бытия. К острой постановке этой проблемы Тургенева побуждали недавнее увлечение немецкой идеалистической философией и как отзвук этого увлечения – «философический роман» с Татьяной Бакуниной, а также несомненное воздействие Белинского, который в 1840-х годах объявил в своих статьях непримиримую войну «идеалистическому романтизму» во всех его проявлениях

ISBN 978-5-457-13880-3

© Тургенев И. С., 1856

© Public Domain, 1856

Содержание

I	6
II	7
III	8
IV	9
V	10
VI	11
VII	14
Конец ознакомительного фрагмента.	16
Комментарии	

Иван Сергеевич Тургенев

Переписка

Несколько лет тому назад был я в Дрездене.

Я остановился в гостинице. С раннего утра до позднего вечера скитаясь по городу, я не почел за нужное познакомиться с моими соседями; наконец случайным образом дошло до моего сведения, что в доме находится русский – больной. Я отправился к нему и нашел человека в жесточайшей чахотке. Дрезден начинал мне надоедать; я поселился у моего нового знакомого. С больным сидеть скучно, но даже скука иногда приятна; притом мой больной не унывал и разговаривал охотно. Мы всячески старались убивать время: играли вдвоем в дурачки, трунили над доктором. Мой земляк рассказывал этому весьма лысому немцу разные небылицы на свой счет, которые доктор всегда «давно предугадывал»; передразнивал его, когда он удивлялся какому-нибудь необыкновенному, небывалому припадку, кидал его лекарства за окно и т. д. Я, впрочем, неоднократно замечал моему приятелю, что не худо бы послать за хорошим врачом, пока время не ушло, что с его болезнью шутить нельзя, и т. д. Но Алексей (моего знакомого звали Алексеем Петровичем С...) всякий раз отделялся остротами насчет всех докторов вообще и своего в особенности и наконец, в один ненастный осенний вечер, на мои неотступные просьбы отвечал таким унылым взглядом, так печально покачал головой и так странно улыбнулся, что я почувствовал некоторое недомыслие. В ту же ночь Алексею сделалось хуже, и на другой день он скончался. Перед самой смертью обычная веселость ему изменила: он с беспокойством заметался на постели, вздыхал, тоскливо озирался... схватил меня за руку, с усилием прошептал: «А ведь тяжело умирать...», уронил голову на подушку и залился слезами. Я не знал, что сказать ему, и молча сидел перед его постелью. Алексей, однако ж, скоро восторжествовал над этим последним, поздним сожаленьем... «Послушайте, – сказал он мне, – наш доктор сегодня придет и найдет меня мертвым... Воображаю себе его рожу...» И умирающий постарался его передразнить... Он попросил меня отослать все его вещи в Россию, к родственникам, исключая небольшой связки, которую он подарил мне на память.

В этой связке находились письма – письма одной девушки к Алексею и копии с его писем к ней. Всех их было пятнадцать. Алексей Петрович С... знал Марью Александровну Б... давно, кажется, с детства. У Алексея Петровича был двоюродный брат, у Марьи Александровны была сестра. В прежние годы они все жили вместе, потом разъехались и долго не видались; потом случайно съехались все опять в деревне летом и влюбились – брат Алексея в Марью Александровну, сам Алексей в сестру ее. Лето прошло, наступила осень; они разъехались. Алексей, как человек рассудительный, скоро убедился в том, что он вовсе не влюблен, – и расстался с своей красавицей весьма благополучно; брат его еще годика два переписывался с Марьей Александровной... но и он догадался, наконец, что бессовестным образом обманывает и ее и себя, и тоже умолк.

Я бы мог вам рассказать кое-что о Марье Александровне, любезный читатель, но вы ее узнаете сами из ее писем. Алексей написал свое первое письмо к ней вскоре после ее окончательной размолвки с его братом. Он находился тогда в Петербурге, внезапно уехал за границу, занемог и в Дрездене умер. Я решился напечатать его переписку с Марьей Александровной и надеюсь на некоторое снисхождение со стороны читателей уже потому, что эти письма не любовные – сохрани бог! Любовные письма читаются обыкновенно только двумя особами (зато тысячу раз сряду), но уж третьей особе они несносны, если не смешны.

I

*От Алексея Петровича к Марье Александровне
Санкт-Петербург, 1840 г., марта 7-го.*

Любезная Марья Александровна!

Кажется, я еще ни разу не писал к вам, и вот пишу теперь... Не правда ли, странное я выбрал время? Вот что меня к этому побудило. Mon cousin Théodore¹ сегодня был у меня и, как бы это сказать... и сообщил мне под величайшей тайной (он иначе ничего не сообщает), что он влюблен в дочь какого-то здешнего барина и на этот раз непременно намерен жениться, и что уж он сделал первый шаг – объяснился! Я, разумеется, поспешил поздравить его с таким приятным для него событием; он давно нуждался в объяснении... но внутренне, признаюсь, я несколько изумился. Хотя я знал, что между вами всё было кончено, однако мне казалось... Словом, я изумился. Я собирался было выехать сегодня в гости, но остался дома и намерен поболтать немного с вами. Если вам неуютно меня слушать, бросьте письмо тотчас же в огонь. Объявляю вам, что я хочу быть откровенным, хотя и чувствую, что вы имеете полное право принять меня за довольно навязчивого человека. Заметьте, однако, что я бы не взял пера в руки, если б не знал, что вашей сестрицы нет с вами: она, как мне сказал Théodore, будет всё лето гостить у вашей тетки, г-жи Б... Дай ей бог всего хорошего!

Итак, вот чем всё разыгралось... Но я не стану предлагать вам мою дружбу и т. д.; я вообще чуждаюсь торжественных речей и «задушевных» излияний. Начав писать это письмо, я просто следовал какому-то мгновенному влечению; если во мне таится другое чувство, пусть оно и останется пока под спудом.

Вас я также утешать не стану. Утешая других, люди большею частью желают поскорей отделаться от неприятного чувства невольного, себялюбивого сожаленья... Я понимаю искреннее, теплое участие... но подобное участие не от всякого принимаешь... Пожалуйста, рассердитесь на меня... Рассердившись, вы, вероятно, прочтете мое послание до конца.

Но какое право имею я писать к вам, говорить о моей дружбе, о моих чувствах, об утешении? – Никакого, решительно никакого, я в этом должен сознаться и надеюсь только на вашу доброту.

Знаете ли вы, на что похоже вступление моего письма? Вот на что: Какой-нибудь господин N. N. вошел в гостиную дамы, которая его совсем не ожидала, которая, может быть, ожидала другого... Он догадывается, что пришел не вовремя, но делать нечего... Садится, начинает говорить... бог знает о чем: о поэзии, о красотах природы, о выгодах хорошего воспитания... словом, несет ужаснейшую дичь... Но между тем первые пять минут прошли, он уселся; дама покорилась судьбе, и вот г. N. N. оправляется, отдыхает и начинает разговаривать – как умеет.

Однако, несмотря на все эти разглагольствования, мне все-таки не совсем ловко. Я так и вижу перед собою ваше недоумевающее, несколько даже гневное лицо: я чувствую, что вам почти невозможно не предположить во мне каких-нибудь скрытных намерений, и потому я, как римлянин, сделавший глупость, величественно закутываюсь в свою тогу и безмолвно ожидаю вашего окончательного приговора...

А именно: позволите ли вы мне продолжать писать к вам?

Остаюсь искренно и душевно преданный вам

Алексей С...

¹ Мой двоюродный брат Федор (франц.).

II

*От Марьи Александровны к Алексею Петровичу
Село ...но, марта 22-го 1840.*

Милостивый государь
Алексей Петрович!

Я получила ваше письмо и, право, не знаю, что вам сказать. Я бы даже вовсе не отвечала вам, если б мне не показалось, что под вашими шутками действительно скрывается чувство довольно дружелюбное. Ваше письмо произвело на меня впечатление неприятное. В ответ на ваши «разглагольствования», как вы говорите, позвольте мне тоже предложить вам один вопрос: к *чему?* Что вам до меня, что мне до вас? Я не предполагаю в вас никаких дурных намерений... напротив, я благодарна вам за ваше участие... но мы друг другу чужды, и я, теперь по крайней мере, не чувствую ни малейшего желания сблизиться с кем бы то ни было.

С истинным уважением остаюсь и т. д.

Марья Б...

III

*От Алексея Петровича к Марье Александровне
Санкт-Петербург, марта 30.*

Благодарю вас, Марья Александровна, благодарю вас за вашу записку, как она ни суха. Всё это время я находился в большом волнении; я двадцать раз на день думал о вас и о моем письме. Вы не можете себе представить, как язвительно я насмеялся над самим собою; но теперь я в отличном расположении духа и глажу себя по головке. Марья Александровна, я вступаю в переписку с вами! Признайтесь, вы этого никак не могли ожидать после вашего ответа; я сам удивляюсь моей смелости... была не была! Но успокойтесь: я хочу говорить с вами не о вас, а о себе. Вот видите ли: мне непременно нужно, говоря старинным слогом, высказаться перед кем-нибудь. Я не имею никакого права избрать вас в свои поверенные – согласен; но послушайте: я не требую от вас ответа на мои послания; я даже не хочу знать, станете ли вы читать мои «разглагольствования», но не возвращайте мне моих писем, ради всего святого!

Послушайте, я совершенно одинок на земле. В молодости я вел жизнь уединенную, хотя, помнится, никогда не прикидывался Байроном;^[1] но, во-первых, обстоятельства, во-вторых, способность фантазировать и любовь к фантазии, довольно холодная кровь, гордость, лень – словом, множество разных причин отделило меня от общества людей. Переход от жизни мечтательной к действительной совершился во мне поздно... может быть, слишком поздно, может быть, до сих пор не вполне. Пока меня тешили собственные мои мысли и чувства, пока я был способен предаваться беспричинным молчаливым восторгам и т. д., я не жаловался на свое одиночество. У меня не было товарищей – были так называемые друзья. Иногда я нуждался в их присутствии, как электрическая машина нуждается в разряднике – и только. Любовь... об этом предмете мы пока помолчим. Но теперь, признаюсь, теперь одиночество тяготит меня, а между тем я не вижу никакого выхода из моего положения. Я не виню судьбы; я один виноват, и поделом наказан. В молодости меня занимало одно: мое милое я; я принимал свое добродушное самолюбие за стыдливость; я чуждался общества – и вот теперь я сам себе надоел страшно. Куда деться? Я никого не люблю; все мои сближения с другими людьми как-то натянуты и ложны; да и воспоминаний у меня нет, потому что во всей моей прошедшей жизни я ничего не нахожу, кроме собственной моей особы. Спасите меня: вам я не клялся восторженно в любви; вас я не оглушал потоком болтливых речей; я довольно холодно прошел мимо вас, и оттого именно решаюсь теперь прибегнуть к вам. (Я и прежде об этом подумывал, да вы тогда не были свободны...) Среди всех моих самодельных ощущений, радостей и страданий, единственно истинным чувством было то небольшое, но невольное влечение к вам, которое завяло тогда, как одинокий колос среди негодных трав... Дайте мне хоть раз посмотреть в лицо другое, в другую душу – мое собственное лицо мне опротивело; я похож на человека, который был бы осужден весь свой век жить в комнате с зеркальными стенами... Я не требую от вас никаких признаний – о, боже, нет! Подарите меня безмолвным участием сестры или хоть простым любопытством читателя – я вас займу, право займу.

А впрочем, честь имею пребыть вашим искренним другом.

А. С.

IV

*От Алексея Петровича к Марье Александровне
Петербург, 7-го апреля.*

Пишу опять к вам, хотя и предвижу, что без вашего одобрения скоро замолчу. Я должен сознаться, что вы не можете не чувствовать некоторой недоверчивости ко мне. Что ж? вы, может быть, и правы. Прежде я торжественно объявил бы вам (и сам, пожалуй, себе бы на слово поверил), что, со времени нашей разлуки, я «развился», ушел вперед; с снисходительным, почти ласковым презрением отозвался бы я о своем прошедшем, с трогательной хвастливостью посвятил бы вас в тайны своей настоящей, действительной жизни... но теперь, уверяю вас, Марья Александровна, мне даже совестно и гадко вспоминать о том, как некогда разыгрывалось и тешилось мое дрянное самолюбие. Не бойтесь: я не стану вам навязывать никаких великих истин, никаких глубоких взглядов; у меня нет их – этих истин и взглядов. Я стал добрым малым – право. Мне скучно, Марья Александровна, мне просто мочи нет как скучно. Вот отчего я к вам пишу... Мне, право, кажется, что мы можем сойтись...

Однако я решительно не в состоянии говорить с вами, пока вы мне не протянете вашей руки, пока я не получу от вас записки с одним словом «да». – Марья Александровна, хотите ли вы меня выслушать? – вот в чем вопрос.^[2]

Преданный вам А. С

V

*От Марьи Александровны к Алексею Петровичу
Село ...но, 14 апреля.*

Какой вы странный человек! Ну – да.
Марья Б.

VI

*От Алексея Петровича к Марье Александровне
Петербург, 2 мая 1840.*

Ура! Спасибо, Марья Александровна, спасибо! Вы очень доброе и снисходительное создание.

Начинаю, по обещанию, говорить о самом себе и буду говорить с удовольствием, доходящим до аппетита... Именно так. Обо всем на свете можно говорить с жаром, с восторгом, с увлечением, но с аппетитом говоришь только о самом себе.

Послушайте, со мной на днях случилось престранное происшествие: я в первый раз оглянулся на свое прошедшее. Вы поймите меня: каждый из нас часто вспоминает о бывалом – с сожалением или с досадой, или просто так, от нечего делать; но бросить холодный, ясный взгляд на всю свою прошедшую жизнь – вот как прохожий, оборачиваясь, глядит с высокой горы на пройденное им поле – можно только в известные лета... и тайный холод охватит сердце человека, когда это с ним случается в первый раз. По крайней мере у меня оно болезненно сжалось. Пока мы молоды – *такого* рода оглядки невозможны. Но молодость моя миновала – и, как тому прохожему на горе, мне всё ясно стало видно...

Да, прошла моя молодость, прошла невозвратно!.. Вот она лежит передо мной, вся, как на ладони...

Невеселое зрелище! Признаюсь вам, Марья Александровна, мне очень жаль самого себя. Боже мой? Боже мой! Возможно ли, чтоб я сам до такой степени испортил собственную жизнь, так безжалостно путал и мучил себя... Теперь я образумился, но уж поздно. Случалось ли вам спасти муху от паука? Случалось? Помните, вы посадили ее на солнце; крылья, ножки у ней слеплены, склеены... Как она неловко движется, как неловко старается обчиститься!.. После долгих усилий она кое-как оправляется, ползет, пытается расправить крылья... но не гулять уж ей по-прежнему, не жужжать беззаботно на солнце, то влетая через раскрытое окно в прохладную комнату, то опять свободно выносясь на горячий воздух... Она по крайней мере не по своей воле попала в грозные сети... а я!

Я был собственным своим пауком!

И между тем я не могу слишком винить себя. Да и кто, скажите на милость, кто бывает когда-нибудь в чем-нибудь виноват – один? Или, лучше сказать, все мы виноваты, да винить-то нас все-таки нельзя. Обстоятельства нас определяют; они наталкивают нас на ту или другую дорогу, и потом они же нас казнят. У каждого человека есть своя судьба... Поймите, поймите! Мне на этот счет приходит в голову хитро сплетенное, но справедливое сравнение. Как облака сперва слагаются из паров земли, восстают из недр ее, потом отделяются, отчуждаются от нее и несут ей, наконец, благодать или гибель, так около каждого из нас и из нас же самих образуется... как бы это сказать? образуется род стихии, которая потом разрушительно или спасительно действует на нас же. Эту-то стихию я называю судьбой... Другими словами и говоря просто: каждый делает свою судьбу, и каждого она делает...

Каждый делает свою судьбу – да!.. но наш брат слишком много ее делает – вот в чем наша беда! Слишком рано пробуждается в нас сознательность; слишком рано начинаем мы наблюдать за самими собою... У нас, русских, нет другой жизненной задачи, как опять-таки разработка нашей личности, и вот мы, едва возмужалые дети, уже принимаемся разрабатывать ее, эту нашу несчастную личность! Не получив извне никакого определенного направления, ничего действительно не уважая, ничему крепко не веря, мы вольны делать из себя что хотим... Нельзя же требовать от каждого, чтоб он тотчас понял бесплодность ума, «кипящего в действии пустом»...^[3] И вот опять на свете одним уродом больше, больше одним

из тех ничтожных существ, в которых привычки себялюбия искажают самое стремление к истине, смешное простодушие живет рядом с жалким лукавством... одним из тех существ, обессиленной, беспокойной мысли которых не знакомо вовек ни удовлетворение естественной деятельности, ни искреннее страдание, ни искреннее торжество убеждения... Совмещая в себе недостатки всех возрастов, мы лишаем каждый недостаток его хорошей, выкупающей стороны... Мы глупы, как дети, но мы не искренни, как они; мы холодны, как старики, но старческого благоразумия нет в нас... Зато мы психологи. О да, мы большие психологи! Но наша психология сбивается на патологию; наша психология – это хитrostное изучение законов больного состояния и больного развития, до которых здоровым людям нет никакого дела... А главное, мы не молоды, в самой молодости не молоды!

И между тем – зачем клеветать на себя? Будто уж и мы никогда не были молоды, будто в нас никогда не играли, не кипели, не дрожали силы жизни? И мы бывали в Аркадии,^[4] и мы скитались по светлым ее полям!.. Случалось ли вам, гуляя по кустарнику, наткнуться на тех темных кузнечиков, которые, прыгнув из-под самых ног, с треском раскрывают вдруг ярко-красные крылья, перелетят несколько шагов и тут же падают опять в траву? Точно так же и наша темная молодость иногда распускала на несколько мгновений и не на долгий полет свои пестрые крылышки... Помните ли вы наши безмолвные вечерние прогулки вчетвером вдоль ограды вашего сада, после какого-нибудь долгого, теплого, живого разговора? Помните ли вы те благодатные мгновения? Природа ласково и величаво принимала нас в свое лоно. Мы входили, замирая, в какие-то блаженные волны. Кругом вечерняя заря разгоралась внезапным и нежным багрянцем; от заалевшегося неба, от просветленной земли, отовсюду, казалось, веяло огнистым и свежим дыханьем молодости, радостным торжеством какого-то бессмертного счастья; заря пылала; подобно ей, тихо и страстно пылали восторженные наши сердца, и мелкие листья молодых деревьев чутко и смутно дрожали над нами, как будто отвечая внутреннему трепету неясных чувств и ожиданий в нас. Помните вы эту чистоту, эту доброту и доверчивость помыслов, это умиление благородных надежд, это молчание полноты? Неужели мы и тогда не стоили чего-нибудь лучшего, чем то, к чему нас довела жизнь? Отчего нам было суждено только изредка завидеть желанный берег и никогда не стать на него твердой ногою, не коснуться его —

Не плакать сладостно, как первый иудей
На рубеже страны обетованной?^[5]

Эти два стиха Фета напомнили мне другие, его же... Помните, как мы однажды, стоя на дороге, увидели вдали облачко розовой пыли, поднятой легким ветром против заходящего солнца? «Облаком волнистым»,^[6] начали вы, и мы все тотчас притихли и стали слушать:

Облаком волнистым
Пыль встает в дали...
Конный или пеший —
Не видать в пыли.
Вижу, кто-то скачет
На лихом коне...
Друг мой, друг далекий —
Вспомни обо мне!

Вы замолкли... Мы так и вздрогнули все, как будто дуновение любви промчалось по нашим сердцам, и каждого из нас – я в том уверен – неотразимо потянуло в даль, в ту неизвестную даль, где призрак блаженства встает и манит среди тумана. И между тем заметьте

странность: зачем, казалось, нам было стремиться в даль? Разве мы не были влюблены друг в друга? Разве счастье не было «так близко, так возможно»?^[7] А я еще сейчас вас спрашивал: отчего мы не коснулись желанного берега? Оттого, что ложь ходила рука об руку с нами; оттого, что она отравляла лучшие наши чувства; оттого, что всё в нас было искусственно и натянуто, что мы вовсе не любили друг друга, а только силились любить, воображали, что любим...

Но полно, полно! К чему растревлять свои раны? Притом же всё это прошло не возвратно. Что было хорошего в нашем прошедшем – меня растрогало, и на этом хорошем я пока прощаюсь с вами. Пора же и кончить это длинное письмо. Пойду, подышать здешним майским воздухом, в котором сквозь зимнюю сухую крепость весна пробивается какой-то влажной и острой теплотой. Прощайте.

Ваш *Л. С.*

VII

*От Марьи Александровны к Алексею Петровичу
Село ...но, 20-го мая 1840.*

Я получила ваше письмо, Алексей Петрович, и знаете ли, какое чувство оно во мне возбудило? – Негодование... да, негодование... и я вам сейчас объясню, почему именно это чувство оно во мне возбудило. Одна беда: я не владею пером, редко писала, не умею точно и в немногих словах выражать свои мысли; но вы, я надеюсь, придете мне на помощь. Вы сами постараетесь понять меня, хотя бы для того, чтоб узнать, почему я на вас негодую.

Скажите мне – вы умный человек, – спросили ли вы себя когда-нибудь, что такое русская женщина? какая ее судьба, ее положение в свете – словом, что такое ее жизнь? Я не знаю, имели ли вы время задать себе этот вопрос, и не могу себе представить, как бы вы на него ответили... Я, может быть, в разговоре была бы в состоянии сообщить вам мои мысли на этот счет, но на бумаге едва ли сумею. Впрочем, всё равно. Вот в чем дело: вы со мной наверно согласитесь, что мы, женщины, по крайней мере те из нас, которые не удовлетворяются обыкновенными заботами домашней жизни, получаем свое окончательное образование всё-таки от вас – мужчин: вы на нас имеете сильное и большое влияние. Теперь посмотрите, что вы делаете с нами. Станем говорить о молодых девушках, особенно о тех, которые, как я, живут в глуши, а таких очень много в России. Притом же я других не знаю и не могу судить о них. Представьте себе такую девушку. Вот ее воспитание кончено; она начинает жить, веселиться; но одного веселья ей мало. Она многого требует от жизни, она читает, мечтает... о любви. Всё об одной любви! – скажете вы... Положим: но для нее это слово много значит. Я опять-таки скажу, что говорю не о такой девушке, которой тягостно и скучно мыслить... Она оглядывается, ждет, когда же придет тот, о ком ее душа тоскует... Наконец он является: она увлечена; она в руках его, как мягкий воск. Всё – и счастье, и любовь, и мысль – всё вместе с ним нахлынуло разом; все ее тревоги успокоены, все сомнения разрешены им; устами его, кажется, говорит сама истина; она благоговеет перед ним, стыдится своего счастья, учится, любит. Велика его власть в это время над нею!.. Если б он был героем, он бы воспламенил ее, он бы научил ее жертвовать собою, и легки были бы ей все жертвы! Но героев в наше время нет... Всё же он направляет ее куда ему угодно; она предается тому, что его занимает, каждое слово его западает ей в душу: она еще не знает тогда, как ничтожно, и пусто, и ложно может быть слово, как мало стоит оно тому, кто его произносит, и как мало заслуживает веры! За этими первыми мгновениями блаженства и надежд обыкновенно следует – по обстоятельствам (обстоятельства всегда виновны) – следует разлука. Говорят, бывали примеры, что две родные души, узнав друг друга, тотчас соединялись неразрывно; слышала я также, что от этого им не всегда становилось легко... Но чего я не видала сама, о том не говорю – а что расчет самый мелкий, осторожность самая жалкая могут жить в молодом сердце рядом с самой страстной восторженностью – это я, к сожалению, испытала на опыте. Итак, наступает разлука... Счастлива та девушка, которая узнает тотчас, что всему конец, которая не тешит себя ожиданием! Но вы, храбрые, справедливые мужчины, большею частью не имеете ни духа, ни даже желания сказать нам истину... вам спокойнее обмануть нас... Впрочем, я готова верить, что вы сами себя обманываете вместе с нами... Разлука! Разлуку переносить и трудно и легко. Была бы цела и неприкосновенна вера в того, кого любишь – тоску разлуки победит душа... Скажу более: только тогда; оставшись одною, узнает она сладость уединения, не бесплодного, но исполненного воспоминаний и дум; только тогда она себя узнает, придет в себя, окрепнет... В письмах далекого друга найдет она себе опору; в своих она, может быть, в первый раз выскажется вполне... Но как два человека, отправив-

шиеся от источника реки по разным ее берегам, сперва могут подать друг другу руку, потом только сообщаются голосом, наконец уже теряют друг друга из виду, так и два существа разъединяются наконец разлукой. Так что ж! – скажете вы: видно, им не было суждено идти вместе... Но тут-то и является различие между мужчиной и женщиной. Мужчине ничего не значит начать новую жизнь, стряхнуть с себя долой всё прошедшее: женщина этого не может. Нет, не может она сбросить свое прошедшее, не может оторваться от своего корня – нет, тысячу раз нет! И вот наступает жалкое и смешное зрелище... Постепенно теряя надежду и веру в себя – а как это тяжело, вы и представить не можете! – она гаснет и вянет одна, упорно придерживаясь своих воспоминаний и отворачиваясь от всего, что окружающая жизнь ей представляет... А он?.. Ищите его! где он! И стоит ли ему останавливаться? когда ему оглядываться? Ведь это всё для него дело прошлое. А то вот еще что бывает: бывает, что он вдруг пожелает встретиться с прежним своим предметом, даже нарочно съездит к нему... Но, боже мой! из какого мелкого тщеславия он это делает! В его учтивом сострадании, в его будто дружеских советах, в его снисходительном объяснении прошедшего слышится такое сознание своего превосходства! Так ему приятно и весело давать самому себе чувствовать каждую минуту – какой он умница и как он добр! И как мало понимает он, что он сделал! Как он умеет даже не догадываться о том, что происходит в сердце женщины, и как он обидно сожалеет о ней, если и догадывается!..

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Комментарии

1.

...никогда не прикидывался Байроном. – Творчество английского поэта-романтика Джорджа Байрона (Вугон; 1788–1824), участника революционно-освободительного движения в Италии и Греции, оказало влияние на всю европейскую литературу начала XIX в., в том числе и на русскую. Байрон создал образ молодого человека – замкнутого индивидуалиста, разочарованного в общественной жизни, но в то же время наделенного бунтарским духом и свободолобием.

2.

...вот в чем вопрос. – Слова из монолога Гамлета в одноименной трагедии Шекспира: «To be, or not to be: that is the question» («Быть или не быть, вот в чем вопрос», акт III, сцена I).

3.

...«кипящего в действии пустом»... – Цитата из 7-й главы «Евгения Онегина» Пушкина. Там: «...современный человек... С его озлобленным умом, Кипящим в действии пустом» (строфа XXII).

4.

...И мы бывали в Аркадии... – Перефразировка первой строки стихотворения Шиллера «Résignation» (1784): «Auch ich war in Arkadien geboren» («И я рожден в Аркадии»). Аркадия – центральная часть Пелопоннеса в Древней Греции. В искусстве и литературе Аркадия изображалась страной райской невинности, патриархальной простоты нравов и мирного счастья.

5.

Не плакать сладостно ~ страны обетованной? – Перефразировка двух строк из стихотворения А. А. Фета «Когда мои мечты за гранью прошлых дней» (1844) из цикла «Элегии и думы». У Фета:

6.

Облаком волнистым... – Стихотворение А. А. Фета (1843), которое Тургенев цитирует с поправкой, по его настоянию внесенной Фетом в издание «Стихотворений» 1856 г. (см.: Фет А. А. Полное собрание стихотворений. «Библиотека поэта». Большая серия, 1959, с. 760; Благой Д. Д. Тургенев – редактор Фета. – Печать и революция, 1923, кн. 3, с. 45–65; Бухштаб Б. Я. Фет. Очерк жизни и творчества. Л., 1974, с. 33).

7.

«...так близко, так возможно» – неточная цитата из 8-й главы «Евгения Онегина» Пушкина. Там: «А счастье было так возможно, так близко!» (строфа XLVII).